СИРЫМ, пасмурным днем 10 октября 1926 года родился я в темном углу фойе Художественного театра, и настроение у меня тоже было осеннее, вчера в этом же фойе я экзаменовался и не был принят даже в группу сотрудников по молодости лет и полной неопытности. И вот сегодня, сейчас, режиссер МХАТа Елизавета Сергеевна Телешева должна познакомить меня с Юрием Александровичем Завадским — у него своя студия, мне следует туда поступить и учиться.

— Юра, я покажу вам молодого человека, который длиннее вас! — послышался голос Телешевой — и знаменитая фигура принца Калафа возникла передо мной...

Да, да, начиная рассказ о Завадском, миновать этот его образ из «Принцессы Турандот» положительно невозможно так же, как невозможно не упомянуть и о коллекции его карандашей. Калаф и карандаши... Это стало, так сказать, литературным штампом у всех, пишущих о Юрии Александровиче, и не от бедности фантазии, а потому, что... таков уж он! До Калафа им был сыгран в студии Вахтангова Антоний в «Чуде святого Антония», а после — Чацкий в Художественном театре и там же — Трубеткой в спектакле «Николай 1-й и декабристы», и еще были у него роли, но триумфальный успех «Турандот», сверкнувшей всего лишь четыре года тому назад (в 1922 году), все еще волновал память театралов-москвичей и, разумеется, мою юношескую память, затмевая все. Поэтому я видел перед собой именно Калафа...

Он и в жизни выглядел необычно: каштановые, с легкой проседью кудри (да, были кудри!), особая пластичность движений... И даже коричневая толстовка (достаточно распространенная в ту пору одежда советских служащих) обладала его, как некий театралный наряд. Завадский без особого любования, как-то мельком, оглядел меня, бросил несколько незначащих фраз и, отложив серьезный разговор до встречи в студии, удалился тем легким и быстрым шагом, который отличает его до сих пор, — торопился на репетицию «Женитьбы Фигаро» к Станиславскому. Я поглядел вслед высокой и стройной фигуре, неизменно артистичной, и вдруг пасмурное настроение сменилось у меня веселым и праздничным. Что-то обе-

щала эта коричневая толстовка, какие-то театральные радости!

Толстовки давно уже нет, нет и кудрей... Любителям театра и в нашей стране и за рубежом хорошо сейчас знаком красивая голова моего учителя, окаймленная венчиком коротко остриженных белых волос... Много лет прожили мы, работая вместе, много пережили и хорошего и дурного, незабываемые удачи и уныние пустых сезонов, но вот это первое ощущение — ожидание творческих радостей от него — владеет мною и по сей день при встречах с ним. И так же, как в молодости, боюсь я его оценивающего взгляда и неравнодушен к его похвалам; и так же чувствую себя в ответе перед ним, когда делаю нечто не соответствующее мере его вкуса. И всегда мне хочется создавать новую роль именно с ним. Какое уж там семидесятилетие! Он для меня, да, думаю, и для всех его учеников, безвозрастен, свеж и неисчерпан!

Что же сплотило нас вокруг Завадского на долгие годы? Ведь ученики редко ценят учителя только за количество лет, проведенных вместе, — ценят за полученное от него. У Завадского, воспитателя актера, есть качество, которым обладает далеко не каждый даже выдающийся режиссер. Казалось бы, он создан, чтобы быть режиссером-диктатором: врожденная сценичность, безупречный вкус, остро развитое чувство формы, точное ощущение ритма и темпа, безудержная фантазия на мизансцене, наконец, умение великолепно показывать. Но все это подчинено другому и главному его умению — догадываться о скрытых возможностях актера, раскрывать и выявлять их. Завадский никогда не фантазирует «отдельно» от индивидуальности исполнителя: он пристально наблюдает и, что-то подсмотрев в актере, незамыслимо, как бы случайными намеками подводит его к желаемому результату. И уж если показывает, что случается не часто, то именно так, как может сыграть только данный актер.

Я получил от него многое и прежде всего — пожизненную любовь к театру и веру в то, что никогда театр не умрет, как бы ни расцветали искусства-конкуренты.

Не лекциями и догматическими утверждениями, а живой практикой своего творчества он приучил меня видеть в профессии актера высокую миссию художника, ответ-

ственного перед своим народом.

Он приобщил меня к радости творческих поисков, сосредоточенных на главном — жизни человеческого духа. И он же привил мне вкус к поискам образного решения, когда совершается то мучительный, то радостный процесс перевоплощения, привил мне вкус к характеристике в роли, к искусству грима. Знаю, что последние два качества не считаются актерской доблестью в наши дни дискуссий о современном стиле, но я так благодарен ему за то, что в свое время он приучил меня считать это доблестью!

К началу 30-х годов определился «набор» рецензентских формул, чаще всего к Завадскому применявшихся. В этом наборе вы обязательно нашли бы театральность, блеск легкой комедийности, изысканность формы, иронию, нарядность и даже мастерство ювелира, оттачивающего безделушки... Перечисленное можно не брать в кавычки, ибо все эти качества, кай-богу же, хороши, но упоминались они слишком назойливо и объясняли лишь одну из граней таланта Завадского.

А он в это же самое время параллельно с работой в своем театре ставил на сцене Театра Красной Армии «Мстислава Удалого» И. Прута и «Гибель эскадры» А. Корнейчука — героические спектакли эпического размаха, вошедшие в золотой фонд советской режиссуры.

Позднее, уже на сцене Театра имени Моссовета, «блеск легкой комедийности» оживет с новой силой в его прелестных гольдониевских спектаклях — «Трактирщице» и «Забавном случае», — но уже будет в репертуаре «Отелло». И полной сосредоточенностью на внутреннем мире человека, на его сокровенном и духовном будут отмечены тончайшие поиски Завадского в спектаклях по произведениям советских авторов — А. Афиногенова, Конст. Симонова, Л. Леонова, Ф. Кнорре, Мих. Светлова, Галины Николаевой. А в 1957 году в параде спектаклей, посвященных 40-летию Советского государства, одно из первых мест займут поставленные им «Дали неоглядые» Н. Вирты, и Завадский окажется автором одного из лучших спектаклей о современной колхозной деревне.

Были ли у него неудачи? Разумеется. Но вы, очевидно, чувст-

вуете, что сегодня мне хочется говорить только о радостном для него и для нас.

Драматург И. Шток в одной из статей назвал Юрия Александровича нормальным волшебником. Хорошее определение, ибо дело волшебников — удивлять, а Завадский не перестает заниматься этим делом. Так удивил он и зрителей, и нас своим «Бунтом женщин», с юношеским задором сплавив в нем, казалось бы, несоединимое: политический памфлет и героику, лирические раздумья и фарсовое озорство. Так удивил он всех совсем уже недавно, вдруг «переставив» «Маскарад» неожиданно, с истинно лермонтовской страстью...

Я люблю иной раз заглянуть в зрительный зал, когда идут «Виндзорские насмешницы». Вот уж где полной мерой отдает Завадский дань театральности! Шумит-тремит на сцене радостный мир шекспировской комедии, мизансцены — одна забавнее другой, неистощимая изобретательность в гримах, костюмах, пир цвета, света, звон оркестра... Но вот уже и сцены ему мало, действие переплескивается в зрительный зал, и веселая толпа, вооруженная трещотками и бычьими пузырями на палках, с хохотом, гиком и свистом увлекает зрителей в фойе на... ярмарку! Театр, театр, во всей его заразительности!

А в последней своей работе, показанной две недели тому назад, в «Объяснении в ненависти» И. Штока Завадский уберет со сцены решительно все. Пересечет пустую сцену световая дорожка и пойдет по ней из глубины к рампе под тихий перебор гитары, на ходу надевая мундир, советский солдат Василий Воробьев. Подойдет совсем близко к зрителям и доверительно заговорит с ними о чем-то насущно важном и для них и для него. И это тоже будет театр, театр Завадского, вдумчивый, лиричный, обращенный к душе и мыслям человека.

Ужасно мне хочется, чтобы еще долго-долго удивлял нас нормальный волшебник, дорогой мой учитель, творя во утверждение — при всем величии кинематографа — и во славу — при всем грядущем расцвете телевидения — того учреждения, которое называется волшебным словом «театр»!

Известия, 1964, 22 дек.